

Максим Горький

Мордовка



Максим Горький

Мордовка

«Public Domain»

1911

Горький М.

Мордовка / М. Горький — «Public Domain», 1911

«По субботам, когда на семи колокольнях города начинался благовест ко всеобщей, — из-под горы звучным голосам колоколов отвечали угрюмым воем сиплые гудки фабрик, и несколько минут в воздухе плавали, борясь, два ряда звуков странно разных: одни — ласково звали, другие — неохотно разгоняли людей. И всегда, по субботам, выходя из ворот завода, Павел Маков, слесарь, ощущал в душе унылое раздвоение и стыд. Он шёл домой не торопясь, позволяя товарищам обгонять себя, шёл, пощипывая острую бородку, и смотрел виноватыми глазами на гору, покрытую зеленью, увенчанную пышной грядою садов. Из-за тёмного вала плодовых деревьев видны серые треугольники крыш, слуховые окна, трубы, высоко в небо поднялись скворешни, ещё выше их — опалённая молнией чёрная вершина сосны, а под нею — дом сапожника Васягина. Там Павла ждут жена, дочь и тесть...»

Максим Горький

Мордовка

По субботам, когда на семи колокольнях города начинался благовест ко всенощной, – из-под горы звучным голосам колоколов отвечали угрюмым воем сиплые гудки фабрик, и несколько минут в воздухе плавали, борясь, два ряда звуков странно разных: одни – ласково звали, другие – неохотно разгоняли людей.

И всегда, по субботам, выходя из ворот завода, Павел Маков, слесарь, ощущал в душе унылое раздвоение и стыд. Он шёл домой не торопясь, позволяя товарищам обгонять себя, шёл, пощипывая острую бородку, и смотрел виноватыми глазами на гору, покрытую зеленью, увенчанную пышной грядой садов. Из-за тёмного вала плодовых деревьев видны серые треугольники крыш, слуховые окна, трубы, высоко в небо поднялись скворешни, ещё выше их – опалённая молнией чёрная вершина сосны, а под нею – дом сапожника Васягина. Там Павла ждут жена, дочь и тесть.

– Оом-оом... – внушительно течёт сверху.

А внизу, под горою, сердитый рёв:

– У-у-у-у...

Сунув руки в карманы штанов, наклонясь вперёд, Павел не спеша идёт в гору по взъезду, мощёному крупным булыжником, – товарищи, сокращая путь, прыгают, точно чёрные козлы, по тропинкам через огороды.

Литейщик Миша Сердюков кричит откуда-то сверху:

– Павел – придёшь?

– Не знаю, брат, может быть... – отвечает Павел и, остановясь, смотрит, как рабочие, спотыкаясь, одолевают крутую, обрывистую гору. Звучит смех, свист, все рады праздничному отдыху, чумазные лица лоснятся, задорно блестят белые зубы.

Трещат плетни, огородница Иваниха встречает заводских – как всегда – гнусавой руганью, а солнце, опускаясь за рекой в далекий Княжий Бор, окрашивает лохмотья злой старухи в пурпур, седые волосы её – в золото.

Снизу пахнет гарью, маслом, болотной сыростью, а гора дышит пряными запахами молодых огурцов, укропа, чёрной смородины; в соборе уже весело перезванивают, и ругань старухи тонет в говоре колоколов.

«Да-а, – тяжело думает Маков. – Очень стыдно, когда слабость характера, – это очень стыдно!...»

Взойдя на гору, он смотрит вниз: там торчат пять труб, словно выпачканные тиной растопыренные пальцы чудовища, утонувшего в заречных болотах.

Пересечённая зыбкими островами, узкая, капризная река – вся красная, и среди малорослого ельника болот тоже горят красные пятна: вечернее солнце отражается меж кочек в ржавой воде.

Жалко солнечных лучей, – болото от них не красивеет, они бесследно тонут в кислой, гниющей воде бочагов.

«Надо идти!» – приказывает Маков сам себе.

Но – задумчиво стоит еще минуту, две...

У ворот дома его встречает Васягин – человек костлявый, лысый и кривой. Чтобы скрыть безобразную яму на месте правого глаза, он, выходя на улицу, надевает тёмные консервы, и за это слобода прозвала его Пучеглазым Вальком. Под горбатым носом у него беспорядочно растут жёсткие, седые волосы, в праздник он придает им вид усов, склеивая чем-то, отчего губы Валька, съёжившись, принимают такую форму, точно сапожник непрерывно дует на горячее.

Но сейчас его рот раздвинут любезной улыбочкой, и Валёк шепчет зятю:
– Паз-звольте субботнее!

Павел, сунув ему двугривенный, идёт на маленький дворик, заросший травой: в углу двора, под рябиной, накрыт стол для ужина, под столом старый пёс Чуркин выкусывает репы из хвоста, на ступенях крыльца сидит жена, широко расставив ноги; трёхлетняя дочка Оля валяется на притоптанной траве – увидала отца, протягивает грязные лапки, растопыривая пальчики, и – поёт:

– Папа-па! Папа приша-а!

– Что поздно? – спрашивает жена, подозрительно оглянув его. – Все ребята давно уж прошли...

Он незаметно вздыхает, – всё как всегда. И, щёлкая пальцами под носом дочери, виновато косится на выпуклый живот жены.

– Умывайся скорее! – говорит она.

Он идёт, а вслед ему градом сыплются ворчливые слова:

– Опять отцу на водку дал? Тыщу раз просила – не делай этого! Ну конечно, что же для тебя все мои слова... я – не из товарок, по собраниям ночами не шляюсь, как ваши блудни...

Павел моется, стараясь набить себе в уши побольше мыльной пены, чтобы не слышать эти знакомые речи, а они сухо выются около него и шуршат, подобно стружкам. Ему кажется, что жена строгаёт сердце его каким-то глупейшим тупым рубанком.

Он вспомнил первые дни знакомства с женой: ночные прогулки по улицам города, в морозные лунные ночи, катанье на салазках с горы, посещение галёрки театра и славные минуты в залах кинематографа, – так хорошо было сидеть во тьме, плотно прижавшись друг ко другу, а перед глазами трепещет немая жизнь теней, – трогательная до слёз, до безумия смешная.

Тогда были тяжёлые дни: он только что вышел из тюрьмы и увидел, что всё разбито, затоптано, восторженно рукоплескавшие – злобно свищут тому же, что вызывало их восторг...

Кудрявая сероглазая Ольгунька треплется около его ног, распевая:

– Па мина лубить, па – куку кубить и лосаду кубить, затла, за-атла...

Он стряхивает с пальцев воду в личико дочери – девочка хохочет и катится прочь от него, он ласково говорит жене:

– Брось, Даша, не ворчи!

Ольгунька с трудом поднимает вверх тяжёлую старую голову Чуркина, приказывая ему:

– Смотри! Ну, смотри-и!

Пёс нехотя мотает головою – посмотрелся он! И, широко открыв пасть, коротко воет.

– Когда муж такой разумник, что ему товарищи дороже семьи... – неуёмно строгаёт душу жена. Павел стоит среди двора, в открытую калитку видна бесконечная лесная даль. Когда-то он сидел с Дашей на лавочке у съезда и, глядя в эту даль, говорил:

– Эх, заживём мы с тобой...

«Это потому, что она теперь беременная», – утешает он себя, взяв дочь на руки.

Маков молча садится за стол, дочь влезла к нему на колени, расправляет пальчиками влажные кудрявые волосы бороды отца и бормочет:

– Оля затла поша и папа, и мама дале-око! На исвочике – ну-у!

– Перестань, Оля! Надоела ты мне за день! – сурово говорит ей мать.

Павлу хочется треснуть жену по лбу донцем своей большой ложки, треснуть так, чтобы звучно щёлкнуло на весь двор, чтобы и на улице слышен был этот сочный звук. Но он сдерживает своё желание, хмурясь и укоризненно напоминая себе:

«Сознательный человек...»

Пришёл тесть, сел за стол и, блаженно растянув тонкие свои губы по костлявому лицу, вытащил из кармана полубутылку.

– Начинается! – говорит Даша, фыркая, точно кошка. Маков опускает голову, чтобы скрыть улыбку: ему знаком ответ Валька:

– Не начамши – не кончишь!

Так и есть. Одинокий глаз старика смешно вертится, следя, как булькает водка. Выпив, он смачно щёлкает языком, Чуркин назойливо смотрит в лицо ему, – и сапожник говорит собаке:

– Тебе – не дам. Будешь водку пить – ругать тебя будут.

И эти слова тоже знакомы Павлу. Тут – всё насквозь знакомо.

Жена ворчит:

– Мечешься, мечешься день-деньской, – шить, стряпать, стирать, – а она, дрянь, кричит через забор – огурцы воруют...

Она – большая, пышная, лицо у неё круглое и такой славный, белый, гладкий лоб. Уши маленькие, острые и приятно шевелятся.

Но сейчас она не очень красива: нечёсаная голова кажется огромной, спутанные, не однажды склеенные потом и пылью волосы закрывают лоб и уши, нос, раздуваясь, сердито сопит, а большие красные губы – словно опухли со зла. Когда прядь волос лезет ей в рот – Даша откидывает её прочь черенком ложки. Замазанная кофта разорвана подмышкой, плохо застёгнута на груди. Розовые круглые руки, по локоть голые, расписаны тёмными полосами грязи. И на крутом подбородке висит рыжая капля кваса.

«Причесаться, умыться недолго», – мельком соображает Павел.

Она причешется завтра, после обеда, наденет полосатую жёлто-зелёную кофту, лиловую юбку. Юбка вздёрнется на животе у неё, и будут видны полусапожки на пуговицах и даже полоска чулок – чёрных, с жёлтыми искрами, – это её любимые чулки, она очень радовалась, когда купила их.

Вечером она, рядом с ним, понесёт живот свой по главной улице города, губы её строго поджаты, брови внушительно нахмурены. Всё это делает её похожей на лавочницу, и – когда встретятся товарищи – Павлу будет казаться, что в глазах у них играют насмешливые и обидные искорки.

Ему становится жарко, точно кто-то невидимый, но тяжёлый противно обнял его душным, тёплым объятием; ему хочется думать о другом – думать вслух.

– Сегодня в обед Кулига, табельщик, рассказывал о французских электротехниках...

Жена начала есть более торопливо, а тесть – медленнее. Губы его вздрагивают, а лицо и лысина наливаются тёмным смехом.

– Это – организация! – мечтательно говорит Павел.

– Ну, а как в Германии? – сладковатым голосом спрашивает Валёк, поднимая глаз в небо.

– Там – хорошо; там партийный аппарат работает, как машина...

– Слава те господи! – говорит старик. – А я уж беспокоиться стал – всё ли, мол, в порядке, у немцев-то?

Голос Валька взвизгивает, а Павел – смущён: он уже знает слова, которые посыплются сейчас сквозь тёмные, расшатанные зубы старика. Вот он надул щёки, склонил голову вбок, как ворона, и, упираясь глазом в лицо зятя, – тонким голосом ехидно поёт:

– Стало быть – всё превосходно в Германии? А – в кармане?

И хохочет, подпрыгивая на стуле. Ольгуньке тоже весело, она хлопает в ладоши, роняя ложку под стол, мать щёлкает её по затылку и кричит:

– Подними, дрянь!

Девочка плачет, тихо и жалобно, отец, прижав её к себе, оглядывается: уже сумерки, час, когда тёмное и светлое, встретясь, сливаются в серую муть. Где-то поют холостяки, доносится назойливый звук гармонии, а вокруг Павла, точно летучие мыши, выются слова тестя:

– Нет, вы не о Германии, а о кармане помечтайте, я вас прошу! Женились – так уж вы о кармане, пожалуйста, да-а! Уж если дети посыпались – устройте для них прочное отечество, а оно – на кармане, на тугом, строится, да, да!

Маков, укачивая задремавшую дочь, думает о тесте: четыре года тому назад он знал Вальку другим человеком, помнит, как на митинге в кирпичных сараях сапожник, смахивая с глаз мелкие слёзы, кричал:

– Ребята! Жалко вас – ну, всё равно! Ходи прямо! Бодро ходи! Вот – мы себя жалели, жили, как приказано, – оттерпели за вас, – вам теперь страдать, за детей ваших...

И ему, Павлу, сапожник сказал однажды:

– Гляжу я, брат, на тебя, слушаю, жалею, что не сын у меня, а дочь! Эх, вот бы мне такого сына...

Но с того времени, как городские патриоты вышибли Вальку правый глаз, старик круто повернул назад.

«Он не один перевернулся», – грустно думает Павел.

Жена резкими движениями собирает со стола грязную посуду, гремят тарелки, падают ложки, и она кричит:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.